



# ANTHOLOGY

mergeFB2

Орест Михайлович Сомов

# Сборник "Киевские ведьмы"

Содержание:

1. Киевские ведьмы
2. Приказ с того света

# Содержание

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Сомов Орест Киевские ведьмы . . . . .     | .0004 |
| Сомов Орест Приказ с того света . . . . . | .0032 |

# Сомов Орест

## Киевские ведьмы

О. М. Сомов  
КИЕВСКИЕ ВЕДЬМЫ

повесть

Молодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился на свою родину из похода против утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетмап войска малороссийского Тарас Трясила после знаменитой Тарасовой ночи, в которую он разбил высокомерного Конецпольского, выгнал ляхов из многих мест Малороссии, очистив оные и от коварных подножное (Подножек (пидножок) - раб, прислужник, припадающий к ногам. Гетман Брюховецкий писал к царю Алексею Михайловичу: "Вашего Царского Пресветлого Величества, Благодателя мого милостивого верний холоп и найнижший подножок Пресветлого Престола, Боярин и Гетман верного войска Вашего Царского Пресветлого Величества Запорозкого Ивашка Брюховецкий") польских, жидов-предателей. Много их пало от руки

ожесточенных казаков, которые, добывая их, напевали то же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жида оскорбляли православных. Все было припомнано: и наушничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церковей божиих, и продажа непомерною ценой святых пасох к светлому христову воскресению. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в дома свои, обременись богатую добычей, которую считали весьма законною и которую летописец Малороссии оправдывает в душе своей, рассудив, сколь неправедно было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность. Те, которые знали Федора Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришел домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкаркой или с бандуристами он вытаскивал у себя из кишени (Кишень карман. (Примеч. О. М. Сомова.)) целую горсть

дукатов, а польскими злотыми только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и крамарей (Крамарь - мелочной торговец красным товаром. (Примеч. О. М. Сомова.)); а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодежи. И было отчего: Федора Блискавку недаром все звали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, которые он гордо покручивал, его молодость, красота и завзятость (Заваятосгь - удалство, молодечество. (Примеч. О. М. Сомова.)) хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь незазорную вольность в обхождении? Перекупки (Перекупка - рыночная торговка, продающая плоды, овощи и т. п. - Перекупками называются они потому, что покупают сии произведения дешевою ценой у сельских жителей и продают дороже в городе. (Примеч. О. М. Сомова.)) на Печерске и на Подоле (Печерск и Подол - части города Ки-

ева. (Примеч. О. М. Сомова.)) знали его все, от первой до последней, и с довольными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по базару. Они ждали этого как ворон крови, потому что Федор Блискавка из казацкого молодечества расталкивал у них лотки с кнышами, сластенами либо черешнями (Кныши - род саек; сластены - оладьи. Черешни - небольшие сливы, похожие на французские mirabelles в очень сладкие. (Примеч. О. М. Сомова.)) и раскатывал на все стороны большие вороха арбузов и дынь, а после платил за все втрое. - Что так давно не видать нашего завязного? - говорила одна из подольских перекупок своей соседке. - Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг. - До того ли ему! - отвечала соседка, - Видишь, он уви ваεται около Катруси Ланцюговны. С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается. - А чем Ланцюговна ему не невеста? - вмешалась в разговор их третья перекупка. - Девчина как маков цвет; поглядеть - так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы

как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом и статью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех парубков. Да и мать ее - женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! зато денег у нее столько, что хоть лопатой гребь. - Все это так, - подхватила первая, - только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят - наше место свято! - будто она ведьма. - Слыхала и я такие слухи, кумушка, - заметила вторая. Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и отправилась, видно, на шабаш... - Да мало ли чего можно о ней рассказать! - перебила ее первая. - Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была ярчук (Ярчук - собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малю российскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм во духу, даже кусать их. (Примеч. О. М. Сомова.)) и узнавала ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи бог и слышать. - Что, что такое? - вскричали с любопытством две другие перекупки. - Ну, да уж что будет, то будет,



а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила Ничипорову дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докийка то мяучит кошкой и царапается на стену, то лает собачкой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке... - Полно вам щебетать, пустомели! - перервала их разговор одна старая перекупка с недобрим видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на прохожих. Толковали бы вы про себя, а не про других, - продолжала она отрывисто и сердито. - У вас все пожилые женщины с достатком - ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь. Все перекупки невольно вскрикнули при последних словах старухи, но мигом унялись, ибо не смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к кагалу киевских ведъм. (Кагал - синагога или сборище. (Примеч. О. М. Сомова.)) Нашлись, однако же, добрые люди, которые хотели предо стеречь Федора Блискавку от женитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая отстать от Катрусю. Да как было и верить чужим наговорам? Милая

девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у Льва и присягнул в том, что мать ее точно ведьма, - и тогда бы Федор не поверил этому. Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым ее привычкам, нельзя было бужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту - все было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его среди самых сладостных излиятий супружеской нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала и даже слезы наворачивались у ней на глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших, черных ее глаз, что у него невольно холод пробегал по жилам. Особливо замечал он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко

а неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто божий мир становился ей тесен, как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что она хотела в чем-то открыться мужу; но всякой раз тяжкая тайна залегала у пей в груди, теснила ее - и только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было нечто непросто: более никакого признания не мог он от нее добиться. Катруся, вдруг овладев собою, оживлялась, начинала смеяться, играть как дитя и ласкать своего мужа больше прежнего; потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства дурным глазом какой-то злой старухи, но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, потому что любил жену свою и сверх того видал примеры подобной порчи или болезни. Однако под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необычно-

венное беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякой раз, когда он с вечера подмечал в Катрусе какое-то душевное волнение, какуюто скрытую тревогу, - неразгадаемый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался, или добрые люди надоумили, только однажды в такую ночь под исход месяца Федор, ложась в постелю, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней мало-помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотами и не примечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна и выбросил узелок. Дворная собака, лежавшая на приспе (Приспа - завалина, земляная насыпь вокруг хаты. (Примеч. О. М. Сомова.)), вероятно, думала, что бросили ей кость или другую поживу; она встала, отряхнулась, с одного скачка очутилась над узелком и начала

его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном. "Эге! так вот от чего и я спал, дорогая моя женошка!" - подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но чтобы совершенно убедиться в ужасной тайне и не навести подозрения жене своей, он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток провел без сна. Катруся, возвратясь из клетки, куда она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лицо и, тяжело вздохнув, отошла к печи. Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и следил ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждою минутой: страх, гнев и любопытство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее. Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как

будто прошумела буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец, раздалось из него писклявым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: "Лети, лети, лети!" Тут Катруся поспешно натерлась какой-то мазью и улетела в трубу. Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уже нет больше сомнения: жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? В тогдашнем волнении чувств и тревоге душевной он ничего не мог придумать, даже не до ставало у него ни на что смелости; лучше отложить до следу ющего раза, чтоб иметь время все обдумать, ко всему приготовиться и заpastись отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница сто мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвратительные пугалища. Он ворочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! сон бежал от него, в хате ему было душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц последним, бледным светом своим как

будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб избавиться от тяжелой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял узелок двумя щепками; и вмиг собака встрепенулась, вскочила, потрясла головой и начала ласкаться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под изголовье, прилег на него и заснул как убитый. Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно даже и следов вче рашнего иступления, ни в глазах ее той неистойвой дикости, с которою она делала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражались в ее взорах и улыбке. Никогда еще не расточала она столько страстных поцелуев, столько детских ласк своему мужу, как в это утро. Словом: она была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхитростное и младенчески-резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которую муж ее видел ночью. И казалось, это не было и не могло

быть в ней притворством: она дышала только для любви, видела все счастье жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? не сон ли такой при видеся ему ночью? не злой ли дух смущал его страшными грезами, чтобы отвратить его сердце от жены любимой? Прошел и еще месяц. Катруся во все это время по-прежнему была домовитою хозяйкою, милою, веселою женщицею, ласковою, услужливою женою. Однако же Федор Блискавка обдумывал втайне, что должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее наблюдать за своей женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор. Еще с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в постелю, то, запустив руку под изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор с такою же быстротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтоб заку-



рить трубку. Все это было исполнено мигом, так, что Катруся никак не могла сего заметить. Радуюсь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом, с тяжким вздохом, и отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание казака, подкрепляемое твердою его решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматривался, где и какие снадобья брала жена его., вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже ничто не было ему страшно: ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бури, ни гром, ни резкий, отвратительный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в подполье и закладенный камнями раскрыл его -

и остолбенел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидки змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы пальцы (Чертов палец - ископаемое, находимое весьма часто в Украине. Он имеет вид конический и цветом похоже на нечистый янтарь". (Примеч. О.. М. Сомова.)), осиновые уголья, кости черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных трав и кореньев и... всего нельзя припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и подергивалось, как от судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в суставах. После сего он пришел в какое-то иступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения; в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря

злилась, и дождь шумел, и гром гремел - но он уже ничего не боялся. И когда услышал зычный, резкий голос из горшка и слово: "Лети, лети, лети!", то, не владея собою от бешенства, торопливо схватил коробочку с мазью, натер себе руки, ноги, лицо и грудь... и вмиг какая-то невидимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило память. Когда же он очутился, то увидел себя под открытым небом, на Лысой горе, за Киевом... Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так ужасно, так уродливо было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки стоял огромный костер осиновых дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал, как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками. На самой верхушке горы было гладкое место, черное как уголь и голое как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли

под мостки о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньего мордой, коз лихими рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. Там великан жид сидел на корточках перед цымбалами величиною с барку, на которых струны были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечную своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того очень гадкую. Инде целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных как гриб ведьм водила журавля (Журавель малороссийская пляска, род линного польского, только гораздо живее; танцуется попарно. (Примеч.0. М.Сомова.)), приплясывая, стуча гоцки (Гоцки - гоц-гоц! Чоканье ногой об ногу. (Примеч.

О. М. Сомова.)) сухими своими ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долговязые лешие пус кались вприсядку с карликами домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польской с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулся в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на веселье (Веселье (висилье) - свадьба, свадебный пир. (Примеч. О. М. Сомова.)), плясали горлицу и метелицу (Горлица и метелица малороссийские пляски; танцуются кадрилию. (Примеч. О. М. Сомова.)) с косматыми водяными, у которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые русалки носились в дудочке (Дудочка- тоже пляска, живая и быстрая. Он большей части

две женщины танцуют ее с одним мужчиной. (Примеч. О. М. Сомова.) с упырями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрип и свисты адских гудков и сопелок (Сопелка - дудка, свирель. (Примеч. О. М. Сомова.)), пенье и визг чертенят и ведьм все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась. Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было, так что холод сжимал всю внутренность. Невдалеке от себя увидел он и тещу свою, Ланцюжиху, с одним заднепровским пасечником, о котором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую бубликами (Бублики - калачи или крендели. (Примеч. О. М. Сомова.)) на Подольском базаре, с девяностолетним крамарем Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренным; и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали ее за юродивую и прозвали Дзыгой (Дзыга - волчок или юла, игрушка. (Примеч. О.

М. Сомова.)); а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою, паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева и которого сами земляки его, ляхи, ненавидели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Бяискавка из своих знакомых, даже таких людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведъм и колдунов пускалась в плясовую так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодежи было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свею жену. Катрусия отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмехалась и вилась перед ним, как юла. Федор, в гневе и ревности, хотел бы броситься на нее и на рогатого плясуна и порядком потузить обоих, но, подумав, удержался и сделал умно. Где бы ему было сладить с целым чертовским кагалом, который, верно, напал бы на него, и тогда поминай как звали. Вдруг раздался как внезапный порыв бура густой,

сипо ватый рев черного медведя, сидевшего на подмостках, - и покрыл собою все: и звон гудков и цымбалов, и свист волюнок и сопелок, и гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту минуту одну ногу, как будто прирос на другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, так и остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздернутые вверх плеча и головы не успели опуститься; грабли жиды на цымбалах и смычки чертенят на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку и мигом все запели:

Высоки скоки

В сороки,

Низки поклоны

В вороны,

(Свадебная песня, - Заметим, что здесь предлог

"в" заменяет предлог "у" русского языка.

(Примеч. О. М. Сомова.)

подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел мед-



ведь. "Ах ты, проклятое племя! шептал про себя Федор Блискавка, - Оно же еще смеет и кощунствовать над обрядами православных и напевать честные весельные песни на своем мерзком шабаше перед этим уродом, в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалились в тартарары, да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей пепельной (Пепельный - адский. Пекло ад, от глагола: пекти, печь (по-малороссийски: пекты). (Примеч. О. М. Сомова.)) головне в глотку: тогда бы небось позабыли вы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!" Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел, как из бочки: "Здесь есть чужой дух!" В минуту все всполошилось: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, русалки - все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И Катруся Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. "Теперь-то, - думал казак, - настал мой смертный час!" Прижавшись вплоть к земле за дровами, он, ни жив ни мертв, выглядывал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая под-

бежала к тому месту, заглянула за кос тер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрипнула зубами... но в тот же миг сорвала с себя намитку, накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем черту по воздуху на Киев - и, прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле. Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю, как человек, едва выздоравливающий от горячки, в которой гре зились ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более правильное: он припомнил себе и страхи, и смешное, отвратительное гаерство прошлой ночи, и жену свою, с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливостью о нем и о доме, с ее детскою игривостью... "И все это было только притворство! - думал он. - Все это нашептывала ей нечистая сила, чтобы лучше меня обмануть". То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских обрядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе... В задумчивости он и не приметил, vsq жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, словно босою ногою на-

ступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы се помертвели, глаза покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу. - Федор! - сказала она печально. - Зачем ты подсмотри вал, что я делала? зачем, не спросись меня, пускался на Лы сую гору? зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с то бою! ты сам растоптал наше счастье!.. - Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая! отвечал Федор с негодованием и отвращением. - Ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?.. Так нет, не надейся! - Послушай, Федор, - подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою к нему на грудь и умильно смотря ему в глаза. - Послушай! Не я виновата, мать моя всему виною: она неволей отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву... Мне было тогда еще четырнадцать лет. И тогда я нехотя летала на шабаш, боясь матери: ведьмы и все их проклятые обряды и все их проклятые повадки были мне как острый нож, а от одной мысли про шабаш мутило у меня на душе. Суди же, каковы они были для меня, когда ты стал моим мужем - ты, кого

люблю я, как душу, как свое спасенье на , том свете... Не раз хотела я отшатнуться от шабаша, не бывать на нем; только под исход месяца, чем больше я о том думала, тем больше меня мучила тоска несказанная. Ты сам знаешь, каково мне тогда бывало... Не приведи бог и татарину того вытерпеть!.. И сколько я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ни отмаливалась - ничто не помогало! Все мне и днем, и ночью кто-то надувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал срочный день - какая-то невидимая сила так и тянула меня туда назло моей воле. Когда же я прилетала па Лысую гору, там меня словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бесовщины, сама себя не помнила, что делала, и не могла не делать того, что другие... Как бога с небес, ждала я страстной недели: тогда кинулась бы я в ноги чернецам божьим и упростила бы их, чтобы заперли меня на все последние три дня в Пещерах, до самой воскресной заутрени, и отмолили бы от меня бесовское наваждение... Теперь это поздно! Ты, милый муж мой, сокол мой ясный! ты сам по-

губил и меня, и себя и навеки затворил от меня двери райские... - Так живи же с своими родичами (Родич - родня, родственник. (Примеч. О. М. Сомова.)), лешими да русалками, коли запал тебе след туда, где веселятся души христианские!.. Сгинь отсюда! оставь меня... - Но властна я тебя оставить! - перервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятиях и, так сказать, приросши к нему. - Я тебе сказала, что на мне лежит страшная клятва... В силу этой клятвы кто бы ни был из близких нам: муж ли, брат ли, отец ли... кто бы ни был тот, кто подсмотрит наши обряды, - но мы должны... ох! тяжело сказать!.. должны высосать до капли кровь его... - Пей же мою кровь!.. Мне тошно жить на свете! Что мне в жизни?.. Одна мне приглянулась, стала моей женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости, и та обманула меня и чуть не породнила с бесовщиной... Все мне постыло на этом свете... Пей же, соси мою кровь! - И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжело мне, что злая доля развела нас и здесь, и там... Катруся зарыдала и упала в ноги мужу. - Об одном только про-

шу тебя, - продолжала она, - по гляди на меня умильно, дай на себя насмотреться, поцелуй меня в последние и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня! Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слиплись в один долгий, жаркий поцелуй... В ту же минуту она рукою искала его сердца по биению.. Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем, как Федор истаивал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: "Сладко ли так засыпать?" - Сладко!.. - отвечал он чуть слышным лепетом - и уснул навеки.

---

Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его никто не видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федора Блискавки сторела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой

горы, и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а на месте его лежала только груда пеплу, и зловонный, серный дым стлался по окружности. Носилась молва, будто бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору. Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы ее покинули, и от того она просветлела.

# Сомов Орест

## Приказ с того света

О. М. Сомов  
Приказ с того света  
Повесть

Однажды, минувшим летом, провел я день на даче, в нескольких верстах от города. Красивое местоположение, прекрасный сад, с одной стороны взморье и пруды, с другой рощи, холмики и долины - все обещало мне один из тех приятных дней, о которых долго, долго и с удовольствием вспоминаешь. Хозяин - пожилой весельчак, хозяйка - добрая жена, добрая мать и умная, приятная женщина, сын их, молодой человек, образованный и скромный, и две милые дочери, расцветшие, как розы, живые, как сама жизнь, умные, как мать их, и веселые, как отец, были притяжательною силой для собиравшегося у них общества. Гостей было немного, всего восемь человек; но этот небольшой круг был так разнообразен, что удовлетворил бы вкусу самого безусталого наблюдателя Утро не приметно у



нас пролетело. Мы гуляли по садам и окрестностям, катались по заливу и между тем шутили, смеялись и не видели, как время прокралось до обеда. Погода с утра была ясная; но мы еще не успели встать из-за стола, как небо темнело, тучи набежали и гром начал греметь по сторонам. Спустя немного, наступила со всею свитой, как водится, гроза, и гроза самая шумливая: молнии заблестали со всех сторон, гром на раздолье прокатывался по воздушному пространству; гонимый ветром дождь пролил, как из ведра. Нечего было и думать о вечерней прогулке, потому что небо кругом обложилось густыми слоями туч и обещало воздушную потеху по крайней мере часов на пять. Если бы гостеприимные хозяева и не унимали от души гостей своих, то в такую погоду, когда, по пословице, и собаку жаль выгнать на двор, - каждый из нас без зрания совести конечно бы сам вызвался остаться. В доме, к удовольствию одних и к крайнему прискорбию других, карт не бывало и в помине, кроме одной старой, исключившейся колоды, которою старушка няня раскладывала гранд-пасьянс. Хозяева сами оста-

лись в гостиной, и те из гостей, которые любили уснуть после обеда, на этот раз посоветились зевать и дремать. Разговор шел, однако ж, в такт по грозе или, лучше сказать, в промежутках громовых ударов, как в мелодраме между музыкой. Все, особливо молодые девицы, поминутно вставали и подходили к окнам полюбоваться, как молнии разгуливают по тучам и как крупный дождь сечет в стекла. Не было и надежды скоро разделаться с грозой: одна туча сменяла другую, один гром отдалялся, другой заступал его место; за мелким дождем шел другой, посильнее. Таким образом время длилось до вечера. - Как бы весело теперь стоять на вахте, - сказал один моряк, - особливо когда паруса все убраны и когда спрятаться можно только под ванты или под грот-бом-брамбрасс. - Хорошо и пехотному офицеру на походе, - подхватил молодой гвардеец, сын хозяев, - особливо если идешь не по петергофскому шоссе, а по какой-нибудь проселочной деревенской дороге. Промочит тебя до костей, и ноги уходят в грязь по колено. - Да, не худо и кавалеристу, - примолвил один улан, покручивая усы свои, -

сверху то же, что и вам, господам пехотинцам, а снизу того и жди, что лошадь или увязнет, или поскользнется и отпечатает формы твои в вязкой глине. - Я помню одну такую грозу, заставшую меня на дороге в Германии, - сказал один неутомимый охотник путешествовать и рассказывать, смотревший в окно и обернувшийся к нам с скромною улыбкою самодовольствия. - Гроза и повесть о духах, которую слышал я вслед за нею, слившись в мыслях моих с развалинами старого замка, который я видел в тот вечер, всю ночь меня тревожили самыми странными и непонятными снами. - Ах! расскажите нам повесть о духах, - подхватила хозяйка, желая чем-нибудь занять гостей своих. - Повесть о духах! повесть о духах! - вскричали девицы и за ними все гости почти в один голос. Путешественник подвинул кресла к круглому столу, за которым сидели дамы, сел, обвел глазами все общество, как будто бы желая измерять на лице каждого слушателя степень внимания, какую он готовил для чудной повести, очистил голос протяжными "гм! гм!" и начал свой рассказ: - Лет несколько тому, возвра-

щался я из Франции в Россию, чрез Мес, Сар-  
брюк, Майнц... и так далее. У меня была креп-  
кая, легкая и укладистая коляска, со мною ве-  
сельный товарищ, француз, отставной капитан  
наполеоновской службы, ехавший в Россию  
отведать счастья и употребить в пользу сведе-  
ния и дарования свои в том звании, которое  
он называл л'утшитёль. Он... позвольте мне в  
коротких словах рассказать о нем. - И не до-  
жидаясь согласия или несогласия слушате-  
лей, рассказчик мой продолжал: - Он облетал  
почти всю Европу за Наполеоновыми орлами:  
прошел даже Россию до Москвы, но оттуда на-  
силу унес голову с малыми остатками боль-  
шой армии. Часто, в коляске, для прогнания  
скуки спорил он со мною о минувшем своем  
идоле и упорно доказывал, что разрежение  
рядов французской армии было следствием  
особых соображений Наполеоновой страте-  
гии. Со всею французскою самонадежностью  
уверял он меня, что знает совершенно и сво-  
бодно изъясняется по-итальянски, поиспан-  
ски и по-немецки, и, вероятно, только знав-  
ши, что я русский, не прибавил к тому языка  
российского. Впрочем, хотя он и выговаривал

ик мак и макенэй, но все-таки немного лучше знал немецкий язык, нежели те из его земляков, которые в прошлую войну на каждой квартире твердили добрым немцам: "Камрад! манжир. бювир, кушир, никл репондир" - и сердились, почему немцы их не понимали. Мой товарищ мог, по крайней мере, выразить, что ему говорят, а при нужде и сам мог сказать слов несколько... Да не о том дело: чувствую, что я слишком заболтался о своем товарище... - Ничего, продолжайте: я все слушаю, хотя, признаться, и не очень понимаю немецкого-то! - сказал очень простодушно один пожилой и добрый провинциал. Все засмеялись, и путешественник, нимало не смутясь, первый захохотал от всего сердца. Отдохнув после смеха, он начал рассказывать далее: - Кто переезжает французскую границу и вступает в Германию, тот с первых шагов замечает крайнюю перемену в способе переноситься с места на место и невероятную разницу между почтальонами французскими и немецкими. Первые, в огромных своих ботфортах, иногда в сарот (плаще (франц.)) сверх куртки и вообще с не слишком опрятною на-

ружностью, перепрыгают в три минуты, мигом вспрыгивают в стремена, захлопают бичами и пошел хорошею рысью с горки на горку; а если дашь им порядочный *roug boige* (Чаевые (франц.)) сверх положенного по почтовой книжке, то понесут тебя на крылышках, точно как русские ямщики. Немецкие почтальоны одеваются чисто, играют на рожках; зато утомительная их флегма и несносный лангсам мучат путешественника. С ними, кажется, лопнет терпение и самого труженика. Так, сердясь и бранясь, я и товарищ мой проехали с ними от Гомбурга до Кайзерслаутерна: но ни брань, ни ласки, ни увещания, ни гладкое шоссе, по которому можно бы катиться как по маслу, ни прибавка трингельда - ничто не шевелило закоснелые сердца наших мучителей. Погода стояла прелестная во всю нашу дорогу от Парижа до красного городка Кайзерслаутерна, красного в самом буквальном смысле, ибо все дома его построены из самородного красного камня; но когда мы оттуда выехали, то заметили, что тучки начинали набегать, и слышали в стороне гром. Как назло еще, лошади попались нам

ленивее, а почтальон упрямее обыкновенного. Сколько мы ни толковали с ним - все понапрасну! Он поминутно вставал с седла, заходил то пить пиво, то закуривать трубку, оставаясь в шинках по четверти часа и более, а чтобы свободнее курить табак, не садился на лошадь, шел пешком подле коляски и на все наши увещания твердил: "Aber der Weg ist sehr schlecht," ("Но дорога очень скверная" (нем.)) - хотя дорога была истинно прекрасная. Лошади, как будто б условясь с ним, шли с ноги на ногу, спустя головы и хлопая ушами, как ослы. Между тем небо мрачилось час от часу более, гром трещал сильнее и сильнее, молнии змейками завивались над нашими ловами; а с последней станции начал накрапывать дождь. Он постепенно усиливался и, спустя полчаса, зашумел таким же ливнем, как сегодняшней. Нечего было делать! мы, хоть и великие любители сельской природы, то есть любители от безделья зевать по сторонам, на горы и доли, принуждены были закутаться в коляске, чтоб не промокнуть до последней нитки. Признаюсь, что я радовался этому крупному, частому дождю,

потому что он, в лице нашего почтальона, мстил за нас всей его братье; только жалел я, что это был не тот, который вез нас от Кайзер-слаутерна. Однако ж жажда мести проходит, как и все другие страсти, а моя с избытком напоена была дождевыми потоками, текшими со шляпы на спину бедного почтальона. Скоро дождь наскучил мне и начал выводить из терпения моего товарища. "Oh quel climat!" ("Что за климат!" (франц.)) ворчал он, сердясь ни за что ни про что на благословенный климат средней Германии. Однако ж гроза не унималась, несмотря на заклинания моего француза. Гром как будто спорил с гневными его междометиями и наотрез перерывал длинные периоды, в которых он честил и климат и почтальонов немецких. Наконец, устав сердиться и видя, что гром трудно перекричать, француз мой сперва замолчал, потом начал насвистывать *la pipe de tabac* (Табачная трубка (франц.)), потом зевать и потягиваться, а в заключение всего дремать. При каждом ударе грома он вздрагивал, выглядывал полусонными глазами в оконце, ворчал по нескольку слов - и снова голова его упада-



ла на сафьянную подушку коляски, и снова качалась и свешивалась на грудь, так что нос его чертил дуги и кривые линии на воротнике фрака. Что до меня, я не мог вздремать: частью оттого, что из самолюбия не хотел подражать французу, частью же оттого, что не люблю спать при огне и стуке; а молния светила нам почти без промежутков, и гром перерывался только громом; притом же дождь стучал со всех сторон в коляску. Так, сидя и мечтая, чрез несколько часов заметил я, что мы начинали подниматься в гору; я выглянул в окно и увидел, что гора, на которую мы ехали, покрыта густым столетним лесом, а на вершине ее стоит древний, полуразвалившийся замок. Эта вершина выдалась круглым холмом из середины леса, и только узкая, почти заглохшая тропинка вела к замку. Он был огромен: уцелевшие стены с круглыми пробоинами, башни, зубцы и другие вычурные средних веков показывали, что он принадлежал какому-нибудь знаменитому владельцу времен рыцарских. Я толкнул моего товарища и указал ему на замок; француз протер глаза, смотрел долго и со вниманием по направле-

нию моего пальца и кончил свои наблюдения протяжным "tiens!" ("Ну и ну!" (франц.)) В это время въезжали мы в местечко Гельнгаузен, лежащее на полугоре и на весьма живописном местоположении. Почтальон наш, видя конец своих страданий, приставил мокрый рожок к мокрым губам и, как лебедь на водах Меандра, изо всей груди заиграл последнюю свою песню; лошади вторили ему ржанием, радуясь близкому своему освобождению от упряжи и отдохновению в уютной конюшне, за тормом. В таком порядке, с музыкой и аккомпанементом, въехали мы в трактир Золотого Солнца. Ловкий молодой мужчина с черными усами и загорелым, выразительным лицом, а каком-то полувоенном наряде, отпер дверцы нашей коляски и, вслушавшись, что мы говорим пофранцузски, сказал нам довольно хорошо на этом языке приветствие и приглашение войти обогреться в трактире. Сходя по измокшей ступеньке, я поскользнулся и чуть было не упал; судите ж о моем удивлении, когда тот же молодой человек чистым русским языком, немного сбивающимся на украинское наречие, спросил у меня: - Вы, су-

сударь, из России? - Земляк! - вскрикнул я" обрадовавшись. - Нет, сударь; я поляк, из Остроленки, но часто бывал с русскими, был даже в плену и выучился вашему языку. - Как же сюда зашел? - О, сударь! мало ли куда я заходил на своем веку: был и в Италии, и в Испании, и в России; а немецкую землю так измерил, как только может измерить лихой улан на коне своем. Теперь служу гауз-кнехтом в здешнем трахтире. Француз мой, подслушав название Испании и Италии и радехонек случаю выказать свое языкознание, начал делать ему вопросы по-итальянски и по-испански; но поляк, не запинаясь, отвечал ему на обоих сих языках гораздо чище и правильнее; так что француз принужден был ударить отбой на природном своем языке похвальным словом храбрости и понятливости поляков. Нас ввели в общую комнату, довольно просторную и очень теплую; двое приезжих сидели там за особым столиком и разговаривали вполголоса, а человек шесть жителей местечка, собравшись у большого стола, за огромными кружками пива и с трубками в зубах, спорили между собою и чертили пивом по столу

план Люценского дела . В углу молодая, белокуренькая пригоженькая немочка сидела за рукодельем и по временам нежно взглядывала на статного немчика лет около двадцати пяти, который, облокотясь на ее стул, что-то ей нашептывал. Хозяин, человек лет за пятьдесят, с самым добрым старонемецким лицом, чинно похаживал с трубкою вокруг стола и как будто бы при каждом шаге хотел приподняться поближе к потолку, ибо природа поскупилась дать ему рост, приличный важной его осанке. На нем был наряд особого покроя, который можно назвать средним пропорциональным между халатом и камзолом: рукава преширокие, а полы спускались немного пониже колен. Эта нового рода туника сшита была из ситцу с большими разводами ярких цветов, каким у нас обиваются мебели, и застегивалась сверху донизу огромными пуговицами. Седоватые волосы нашего трактирщика прикрыты были черным шелковым колпаком. Увидя нас, хозяин подошел и преважно поклонился; мы заняли места и, расположившись провести здесь ночь, потребовали ужин, лучшего вина и особую комна-

ту с двумя постелями. Неоспоримая истина, что вино веселит человека. За бутылкою доброго гохгеймского согрелось сердце и ожила веселость во мне и в моем товарище. Хозяин, полагая, что мы не простые путешественники, потому что требуем много и, конечно, заплатим хорошо, увивался около нас и раз двадцать величал нас наугад и баронами, и графами, и князьями, по мере того, как наши требования на его счет увеличивались. Я должен вам признаться, что принадлежу к числу путешественников систематических, то есть тех, которые не проезжают ни одного местечка, ни одной деревушки без того, чтобы не выведать у первого встречного всей подноготной о месте его жительства. Знаю, что многие называют это суетным любопытством людей праздных; но вы не поверите, как этим увеличивается и дополняется сумма сведений, собираемых нашим разрядом путешественников, о нравах, обычаях, местностях и редкостях проезжаемого края. Так и здесь, то есть в Гельнгаузене, пришла мне благая мысль потребовать другую бутылку гохгеймского, подпить доброго нашего хозяина и пораспро-

свить его о том, о другом. Он не заставил долго себя упрашивать. Стаканы и разговоры зазвучали, и в полчаса мы так были знакомы, как будто бы вместе взросли и вместе изжили век. - Позвольте познакомить вас, милостивые государи и знаменитые странствователи, с первостатейными членами здешнего местечка, - сказал наш хозяин; с этою речью встал он и подошел к гостям своим, сидевшим у стола за пивными кружками. Мы пошли вслед за ним, чтобы поближе всмотреться в этих первостатейных членов. - Вот высокопочтенный и именитый г-н пивовар Самуель Дитрих Нессельзамме, - продолжал трактирщик, указывая на первого из них. Пивовар, небольшой, плотный мужчина, с круглым и красным лицом, с носом, раздувающимся как кузнечный мех при каждом дыхании, с плутовскими глазами под навесом густых рыжих бровей и с самою лукавою улыбкою, встал и поклонился нам очень вежливо. - Прежде всего, любезный сосед, - сказал он трактирщику, улыбнувшись как змей-искуситель, - позвольте мне от лица общих наших друзей, здесь находящихся, довести до

сведения почтенных ваших посетителей, с кем они имеют удовольствие беседовать в особе вашей. - Начало много обещает, - подумал я; и, взглянув на трактирщика, заметил, что он невольно приосамился, но вдруг, приняв на себя вид какого-то принужденного смирения, отвечал оратору только скромным поклоном - Почтенный хозяин здешнего дома, - продолжал хитрый пивовар, - есть г-н Иоган Готлиб Корнелиус Штауф, смиренная отрасль древней фамилии Гогенштауфен. При сих словах, хозяин наш, казалось, попрос на целый вершок. Он то потирал себе руки, то под какую-то странною ужимкою хотел затаить улыбку удовольствия, мелькнувшую на лице его, словом, был вне себя. Наконец язык его развязался: он, со всею благородною скромностью сельского честолюбца, сказал нам; - Точно так, милостивые государи! под эту убогою кровлею, в этом, могу сказать, почти рубище, видите вы потомка некогда знаменитого рода... - Голос его дрожал, и сколько он ни усиливался, не мог докончить этого красноречивого вступления. Товарищ мой кусал себе губы и чуть не лопнул от сме-

ха, который готов был вырваться из его груди громким хохотом. Что до меня, то я удержался как нельзя лучше; этакие выходки были для меня не в диковинку: еще в России знал я одного доброго немца, который причитал себя роднёю в тридцать седьмом колене князю Рейсу сорок осьмому. Между тем француз мой, пересилив смех, спросил у меня на своем языке: "Что за историческое лицо Оанстофён?" (Hohenstauffen, по французскому выговору (прим. автора)) - и я в коротких словах дал ему понятие о Георге Гогенштауфене, сколько сам знал о нем из романа Шписова. Хозяин наш в это время, как видно было, искал перерванной в нем сильным волнением чувств нити разговора. Несколько минут смотрел он в землю с самым комическим выражением борьбы между смирением и чванством, к которым примешивался какой-то благоговейный страх. Но чванство взяло верх в душе честолюбивого трактирщика, и он вскричал торжественным голосом: - Так! предки мои были знамениты: они беседовали с славными монархами и жили в замках. Скажу больше: они только другой линии - были



в родстве с великими и сильными земли; а некоторые даже сами... Но что вспоминать о минувшей славе!.. Один из них, - прибавил он вполголоса и робко озираясь, - один из них, бывший владелец двадцати замков, и теперь в срочное время посещает земное жилище своих потомков... - Неужели? - сказал я с видом удивления, - и не тот ли замок, что здесь стоит на горе? - А rgoros (Да, кстати (франц.)), - подхватил мой товарищ, - скажите на милость, высокопочтенный г-н Штауф, wei это замок? - Замок этот, милостивые государи, - отвечал трактирщик, - замок этот принадлежал некогда славному императору Фридрику Барбароссе. Здесь совершались дивные дела, и теперь иногда совершаются. Иногда, говорю; потому что срок уже прошел и не скоро придет снова. Торжественный голос, таинственный вид и сивиллинские ответы нашего трактирщика сильно защекотали мое любопытство. Я просил его рассказать о дивных делах замка, потребовал еще несколько бутылок гохгеймского - на всю честную компанию - и сам подсел к кружку добрых приятелей нашего хозяина. Товарищ мой сделал

то же. Белокуренькая немочка подвинула свой стул, а статный немчик переставил ее столик с работою поближе к нам. Во все это время трактирщик как будто бы колебался или собирался с мыслями. Наконец лукавый пивовар решил его. "Что, любезный сосед, - сказал он, - таить такой случай, который служит к чести и славе вашего рода и сверх того известен здесь целому околотку? Ведь вас от того ни прибудет, ни убудет, когда эти иностранные господа узнают то, что все мы, здешние, давно знаем". - Решаюсь! - возгласил трактирщик, как бы в припадке вдохновения. - Высокопочтенные и знаменитые слушатели! одного только прошу у вас - снисхождения к слабому моему дару и безмолвного внимания, потому что я как-то всегда спутываюсь, когда у меня перебивают речь. Все движением голов подали знак согласия; и вот, сколько могу припомнить, красноречивый рассказ скромного нашего трактирщика. Год и пять месяцев тому назад Эрнст Герман, этот молодой человек (тут он указал на статного немчика), возвратился сюда, окончив курс наук в Гейдельбергском университете. Вы ви-

дите дочь мою Минну (тут он указал на белокуренькую немочку): не в похвальбу ей и себе, ум ее и сердце ничем не уступят смазливенькому личику. После матери своей осталась она на моих руках по седьмому году. Я сам старался ее образовать, платил за нее старому школьному учителю, наставлял ее всем добродетелям, особливо порядку и домоводству; а чтобы познакомить ее с светом и доставить ей приятное развлечение, покупал ей все выходившие тогда романы Августа Лафонтена<sup>17</sup>. Вы, верно, догадываетесь, в чем вся сила? Герман полюбил Минну, Минна полюбила Германа; оба они не смели открыться друг другу, не только мне или кому бы то ни было; а мне самому, со всею моею догадливостью, и в голову того не приходило. Дело прошлое, а сказать правду, когда старый кистер, дядя Германа и школьный наш учитель, пришел ко мне сватать Минну за своего племянника, обещаясь уступить ему свое место, - меня это взорвало. "Как! - думал я да, кажется, и говорил в забытьи с досады, - дочь моя, Вильгельмина Штауф, отрасль знаменитого рода Гогенштауфен и самая богатая невеста в

здешнем местечке, будет женою бедного Эрнста Германа, у которого вся надежда на скудное учительское место его дяди!" - Короче, я отказал наотрез; выдержал пыл и представления старика кистера, видел, как Эрнст бродил по улицам, повесив голову, подмечал иногда двести слезинки на голубых глазах Минны - и оставался непреклонен. Слушал длинные увещания соседа Нессельзамме и поучения нашего пастора о гордости и тщете богатств - и оставался непреклонен. Так прошло несколько месяцев. Минна, из румяной и веселой, сделалась бледною и грустливою; Эрнст похудел, как испитой, и поглядывал из-под шляпы на наши окна, как полоумный. "Ничего, - думал я, - время все сгладит и залечит!" Тогда мне и не грезилось, какой конец будет делу. Между тем, по моему расчету, приближалось роковое двестилетие, когда тень Гогенштауфена является одному из его потомков, для устройства фамильных дел. Сколько мне известно, здесь, поблизости от замка, налицо из всего потомства мужеского пола был только я. Часто говаривал я об этом с соседом Нессельзамме, и всегда меня мучи-

ло какое-то темное предчувствие. Сосед всякий раз наводил речь на то, чтобы, каковале мера, если Гогенштауфен на меня обратит свое внимание, выполнить все, чего он потребует, и не раздражать грозного предка отказом или изменением его поведений. Я совершенно соглашался с мнением соседа и с страхом и надеждою ждал призывного часа. В одну ночь - это было ровно за три дни до известного вам срока - лег я в постелью раньше обыкновенного, чтоб успокоить волнуемые ожиданием мои чувства. Ночная моя лампада бросала с камина слабый, тусклый свет. Стенные часы пробили полночь, и я, кажется, начинал дремать. Вдруг - я не спал еще, милостивые государи, клянусь, что не спал, - вдруг дверь в моей комнате тихо и без скрыпа сама собою отворилась... Я приподнял голову с подушки... Не вздохнул ли кто из вас, милостивые государи? не шумит ли ветер?.. Меня всегда обдает холодным потом, когда вспомню про тогдашние свои приключения. Однако ж я не трус, милостивые государи, я не трус в решительные минуты, и вы скоро это увидите. Видали ль вы, почтенные мои слушатели, тень

отца Гамлетова? Я ее видел в Лейпциге на ярмарке; сосед Нессельзамме тоже видел. Помнишь ли, сосед, сколько раз я с тобою спорил, что мертвецы и тени именно так ходят: ступят одною ногою и после тихо и с расстановкой приволокут к ней другую, как в менуэте? Ты смеялся тогда и не хотел мне верить. Точно так, шаг за шагом, вошел ко мне черный рыцарь, в черных доспехах с черными перьями; из-за черной решетки его шлема торчали курчавые, черные бакенбарды, ни дать ни взять как у моего гауз-кнехта. Казимира Жартовского. Да и ростом привидение, кажется, было с него, немного разве пошире в плечах и потолще. В левой руке держало оно огромный черный меч; в правой, которую протягивало ко мне, как телеграф, - был сверток пергамента, перевязанный черною лентою и запечатанный черною печатью. Видя, что я не тороплюсь принять от него сверток, привидение уронило его на пол, потом медленно опустило руку свою в черной перчатке, медленно протянуло указательный палец, как будто приказывая, чтоб я поднял это чудное послание. И когда глаза мои, как заколдованные

взглядом василиска, следовали за указательным его пальцем и остановились на пергамене, - привидение вдруг исчезло, и дверь сама собою захлопнулась. Не скажу, чтоб я сильно испугался, потому что я не кричал и не упал в обморок; однако ж, признаться, мне было жутко: меня то холод пронимал до костей, то бросало в такой жар, что на дыхании моем можно б было -изжарить фазана; дух захватило и голосу не стало. Так провел я, без сна и почти в оцепенении, всю ночь до самого рассвета. Утром я поуспокоился; тут вспомнил о пергамене и наклонился, чтобы поднять его; но в глазах у меня двоилось, словно у пьяного: я то не дотягивал руки до свертка, то перетягивал ее через свертки; когда ж удавалось мне до него дотронуться, то руку мою всякий раз отталкивало, как будто б я брался за раскаленное железо. Долго я возился с свертком; наконец ухватился за него, и пальцы мои с судорожным движением к нему прильнули. Собравшись с силой, я сорвал черную ленту и печать, развернул пергамен... в нем было написано красными чернилами, и чуть ли не кровью; но долго, долго писанные строки сли-

вались в глазах моих в одни кровавые полосы, а когда начал вглядываться в буквы - они, казалось, перескакивали то вверх, то вниз, то двигались, как живые. Я выпил стакан воды, сел, отдохнул и потом прочел следующее послание, написанное самым старинным почерком, но четкими и крупными буквами: "Потому моему в двадцать девятом колене, Иоганну Готлибу Корнелиусу Штауфу из рода Гогенштауфен, я, Георг фон Гогенштауфен, рыцарь и барон, желаю здравия и свидетельствую почтение. Через три дни, в час по полуночи, явись в нагорный замок, без проводника и фонаря, для получения моих приказаний. Податель сего, бывший мой оруженосец Ганс, будет тебя ожидать у ворот замка и введет куда следует. Пребываю нежно тебя любящий..." Под этими строками подписано было размашистою рукою: "Георг фон Гогенштауфен", а внизу письма: "Дано на пути моем в воздушном пространстве, на пределах обитаемого мира". Далее год и число. Посудите, каков был приказ с того света? Ступай на свидание с мерт... с тенью, хотел я сказать! Но делать было нечего; отказаться нельзя; а если б



я и подумал не выполнить приказа, то кто знает, сколько у грозного моего предка запасных средств, и пожаров, и болезней, и смертных случаев? да когда б и сам он вздумал навестить меня, то уж бы не пошутил за неявку. Тоска залегла мне на сердце: я бродил, как нераскаянный грешник, уныл и мрачен; отказался от хлеба, а за пиво и брантвейн и взяться не смел. В местечке у нас пошли на мой счет шушуканья: одни говорили, что я обанкрутился и что скоро дом и вся рухлядь пойдут у меня с молотка; другие - что у меня на душе страшное злодейство и что какой-то призрак с пламенными глазами и оскаленными зубами поминутно меня преследует; иные - что я рехнулся ума или, по крайней мере, у меня белая горячка. Этих мыслей, кажется, была и Минна: она все плакала и грустила, призывала даже доктора; но я его не принял и отправил его баночки и скляночки из окна на мостовую. Так прошло двое суток; наступили роковые третьи. С самого утра заперся я в своей комнате и не пускал к себе ни души; приготовился ко всему, как долг велит доброму и исправному человеку; написал да-

же духовную, в которой завещал Минне все мое имение и заклинал ее поддерживать честь нашего рода и славу трактира Золотого Солнца. Соседу Нессельзамме отказывал на память мои очки и дюжину доброго рейнвейна, а старому кистеру бутылку самых лучших голландских чернил. В таких хлопотах я и не заметил, как наступил вечер. Вот тут-то стало мне тяжело! Каждый чик маятника отзывался у меня на сердце, как будто стук гроба вою молота, а звонкий бой часов слышался мне похоронною музыкой; каждый час налегал мне на грудь, как новый слой могильной земли. Наконец пробило и двенадцать. Все в доме стихло; нигде ни свечки; на мое счастье, месяц взошел и был полон и светел, как щеки соседа Нессельзамме под веселый час. Я начал одеваться в самое лучшее праздничное свое платье, взбил волосы тупеем, перевил косу новою черною лентою и, посмотревшись в зеркало, видел, что могу явиться на поклон к почтенному моему предку в довольно приличном виде. Это меня ободрило. Пробил и час. Быстро пробежал у меня мороз по жилам, но я не лишился бодрости; пошел к замку и в

мыслях приготавливал речь, которую хотел произнести к тени славного Георга фон Гогенштауфена. Не знаю, что-то подталкивало меня в спину, когда я вышел из местечка; месяц светил так, что можно б было искать булавок по тропинке; тени от деревьев и кустов, казалось, протягивали ко мне длинные руки и хотели схватить за полу; совы завывали по рощам и как будто напевали мне на душу все страшное. Я шел, скрепя сердце, стараясь ничего не видеть и не слышать и ощупывая наперед бамбуковою своею тростью каждый шаг по тропинке. Так прибыл я к воротам замка или, лучше сказать, к тому месту, где они когда-то стояли; там, на груде камней, увидел я обещанного проводника, черного латника; он отсалютовал мне черным мечом и пошел передо мною. Мы вошли в узкие, сырые переходы, освещаемые только слабою лампою, которую нес мой проводник; ноги мои подкашивались и невольно прилипали к помосту, но я их отдергивал и шел далее; мне что-то шептало: "Надейся и страшися!", - и я с полною доверенностию к знаменитому предку переступал шаг за шагом. Мы останови-

лись у одной двери, за которою слышны были многие голоса; черный латник поставил лампу на пол и ударил трижды мечом своим в дверь: она отворилась, мы вошли... и здесь-то я увидел, когда, опом нившись, мог видеть и понимать. . Посередине стоял стол, покрытый черным сукном; за столом, на старинных, позолоченных креслах, сидел Гогенштауфен, в собственном своем виде. Он, по наружности, казался бодр и свеж, даже дороден; но смертная бледность и что-то могильное, которое как белая пыль осыпалось с его лица, ясно показывали, что это не живой человек, а тень или дух. Волосы на нем были белые и курчавые, как шерсть на шпанском баране; борода длинная и мягкая, как лен: эта борода закрывала ему всю грудь и падала на колена. Только серые глаза его бегали и сверкали как живые. На нем была белая фланелевая мантия особенного покроя: шлейф от нее лежал далеко по помосту, а полы закрывали все ноги, так что я не мог видеть, какая была обувь у моего предка. Перед ним была раскрыта роковая книга, в черном сафьянном переплете, с золотым обрезом и медными скобками. По

обе стороны его, на помосте, что-то пылало в двух больших черных вазах и разливало бледный, синеватый свет и сильный спиртовой запах. Чем дальше я всматривался в лицо старого Георга, тем больше находил в чертах его что-то знакомое... и, как хочешь спорь, друг Нессельзамме, а я всетаки не отступлюсь, что между предком моим и тобою есть какое-то сходство... Не скажу, чтобы большое, потому что вид его гораздо важнее и благороднее; а есть что-то... Недаром во мне всегда было к тебе некоторое непонятное, сверхъестественное влечение - Полно, полно! - подхватил пивовар, покусывая себе губы с какою-то принужденною ужимкою, - тебе так показалось... Ночь, слабое освещение, невольный страх и тревога чувств... словом, тебе так показалось. - Ну, как тебе угодно, а я все на том стою. Да полно об этом: мы вечно будем спорить и вечно не согласимся, и я по всему вижу, что тебе крайне нелюбо сходство с выходящим из того света. Во все то время как я его рассматривал, старый Гогенштауфен не спускал глаз с своей книги и как будто бы не замечал меня. Должно думать, что он с намерени-

ем давал мне досуг оправиться от страха и удивления: ему хотелось, чтоб я с свежою по возможности головою выслушал его слова, мог их обдумать и отвечать порядком. Наконец он поднял глаза с книги, оборотил их ко мне и сказал глухим и протяжным голосом, в котором было что-то нетелесное: - Иоган Готлиб Корнелиус, потомок заглохшей отрасли рода Гогенштауфен! Я заботился о тебе. Здесь вызывал я из гробов тени минувших потомков моих и спрашивал их совета, как восстановить и прославить твое поколение. Внемли приговор их и мой: у тебя одна дочь; с нею потомство твое должно перейти в род посторонний; но род сей должен быть достоин столь блестящего отличия. Я избрал ей супруга, и все потомки одобрили мой выбор. Это - Эрнст Герман. Он, как и ты, отрасль рода славного, кроющаяся в тени безвестности. Родоначальник его древнее всех нас, и есть знаменитый Герман, давший имя свое всем племенам германцев, тот Герман, которого полудикие завоеватели, римляне, своевольно в летописях переименовали Арминием. Не стыдись и не презирай бедности Эрнста Германа: я его

усыновил; потомству его, чрез несколько колен, предопределены судьбы славные. Обилие и слава будут его уделом, и Золотое Солнце воссияет лучами непомрачаемыми. Прощай! время мне отправиться в путь далекий и устроить жребий других моих потомков. Будь счастлив и успокой дух свой. Я отдал земной поклон великому моему предку и от полноты чувств не мог сказать ни слова, даже долго не мог приподнять головы; когда же встал, то ни его, ни книги уже не было; пламя в вазах погасло, и надо мною стоял черный латник с своею лампою. Он подал мне знак идти за ним; мы вышли из-под сводов; он остановился на том самом месте, где я нашел его при входе в замок, указал мне дорогу черным мечом своим - и вдруг мелькнул куда-то, так что я больше его уже не взвидел. Одинок пошел я по тропинке. Голова у меня кружилась, чувства волновались; бессонница, произвольный пост, чудное видение... словом, все это вместе было причиною, что я без памяти упал на половине дороги... Когда я очнулся, то увидел, что лежу на постеле, в своей комнате. Минна сидела у моего изголовья и

плакала; Эрнст Герман стоял передо мною с скляночкой лекарства и ложкою; старик кистер поддерживал мне голову, а доктор наш, Агриппа Граберманн, щупал пульс и смотрел мне в лицо с самою похоронною рожей. Сосед Нессельзамме печально сидел сложа руки на моих креслах и о чем-то думал; а Казимир, тоже не с веселым лицом, стоял у дверей, как на часах, и, видно, ждал приказаний. Я оборотился к Минне, улыбнулся, взял ее за руку, сделал знак Эрнсту, чтоб и он подал мне свою руку, сложил их руки вместе и слабо проговорил: "Соединяю и благословляю вас, дети!" - "Это все бред!" - подхватил доктор. - "Сам ты бредишь, г-н приспешник латинской кухни", - отвечал я ему таким голосом, который всех уверил, что я в полной памяти. Надобно было видеть общую радость! Минна, Эрнст, старик кистер, сосед Нессельзамме, Казимир Жартовский - все бросились ко мне и задушили было своими поцелуями. Один доктор Граберманн оставался холодным зрителем и упрямо твердил, что я в бреду и что горячка еще не миновалась. Остальное доскажу вам в коротких словах. Сосед Нессельзамме, вышел рано из



дому за каким-то делом, нашел меня без памяти на тропинке, тотчас позвал Казимира и еще двоих соседей, и общими силами принесли меня домой. Чтобы не испугать Минну, они положили меня тихонько в моей комнате, потому что второпях я не запер ее перед уходом. Позвали доктора, который заметил во мне признаки горячки и, рад случаю, начал в меня лить свои лекарства. Когда я опомнился, то был уже девятый день моей болезни. После Минна мне рассказывала, что в бреду я беспрестанно твердил о Георге фон Гогенштауфене, о черном латнике, о ней самой, об Эрнсте Германе, и, не знаю по какому странному смешению понятий, о соседе Нессельзамме и о Казимире Жартовском. Я скоро оправился от болезни и скоро пировал свадьбу Минны с Эрнстом Германом, которого принял к себе в дом как сына и наследника. Вот уже восемь месяцев, как мы живем вместе, счастливы и довольны своим состоянием и благословляем память и попечения о нас великого Георга фон Гогенштауфена. Трактирщик кончил свой рассказ. Минна и Эрнст Герман взглянули на нас такими глазами, в которых можно

было прочесть сомнения их насчет чудной повести и желание знать, как мы ее растолкуем? Но ни я, ни товарищ мой, по данному от меня знаку, не показали на лицах своих ничего, кроме удивления; словом, мы делали вид, что поверили всему сполна. Я заглянул в лицо лукавому пивовару: он очень пристально смотрел на свою трубку и как будто бы глазами провожал вылетающий из нее дым. Гроза утихла, тучи разошлись, луна вошла в полном сиянии, и мы, взяв себе проводником Казимира Жартовского, ходили осматривать замок... - И теперь гроза утихла, - сказал кто-то из гостей, посмотрев на часы. - Половина одиннадцатого: пора пожелать доброго вечера почтенным нашим хозяевам. Гости встали с мест и велели подавать свои экипажи. - А что ж ваши сны, которые так вас тревожили ночью? спросил у путешественника любопытный провинциал. - Сны мои были, как и все сны, - отвечал он, - смесь всякой небылицы с тем, что я видел и слышал. - Что же вам говорил о трактирщицком видении поляк, когда провожал вас к замку? - Он притворился, будто ничего не знает и всему верит. В это

время слуга вошел сказать, что лошади готовы. Мы простились с хозяевами и разъехались в разные стороны.

### Примечание

Нужно ли отдавать отчет читателям в побуждениях или причинах, заставивших написать какой-либо роман или повесть? Многие большие и малые романисты, люди, без пощады строгие к самим себе и своим читателям, полагают, что это необходимо, и для того пишут длинные предисловия, послесловия и примечания. Чтобы не отстать от многих, и я хочу здесь в коротких словах сказать по крайней мере о том, что подало мне повод написать помещенную здесь повесть, и о том, сколько в ней правды и неправды. В 1820 году, проезжая чрез Гельнгаузен, нашел я там в трактире Золотого Солнца объявление, что за девять гульденов продается в нем: Замок Фридерика Барбароссы, близъ Гельнгаузена, исторический роман, в коем выводится на сцену тень Гогенштауфена. Я тогда же записал это, и недавно отыскал сию записку в путевой моей книжке. Замок стоит точно на таком местоположении, какое описано мною в пове-

сти. Поляк гаузкнехт, говорящий по-русски и на разных других языках, есть также лицо невымышленное. Не знаю, так ли точно честолюбив хозяин трактира Золотого Солнца; но знаю, что общая страсть всех путешественников - прикрашивать свои рассказы: и мой не вовсе свободен от этой страсти. Что касается до тени Гогенштауфена, то я в отношении к ней не слишком придерживался исторической истины Шписовой, а винюсь - выдумал нечто похожее на предание или поверье народное, будто бы насчет ее существующее. Таким образом, она не перестает у меня посещать здешний мир, и не в начале каждого столетия, а через двести лет. Оставляю на выбор, верить Шпису или моему трактирщику.